Зорин Леонид

5.11.94

Баловень судьбы

Леониду Зорину исполнилось семьдесят лет. Но это так ему не идет.

Некоторым, представьте, идет. А вот ему не идет решительно.

Зорин — человек, не вписывающийся в старость. Он — раб поиска и пленник движения.

И еще Зорин старомоден. В том привлекательном смысле, что не норовит держать хвост по любому новому ветру и сохраняет верность всем честно прожитым своим годам. Верность прошлому нынче откровенно, вызывающе старомодна. Верность прошлому нынче сродни предательству — такова подлость текущего из пустого в порожнее времени. Зорин стоит в стороне от холопов безудержного прогресса, от вертлявой челяди оголтелых перемен.

Зорин отнюдь не боится перемен, но и не заискивает перед ними. И он не просто живет прошлым, он им живо интересуется. Новости из прошлого ему дороги не меньше хроники настоящего. Прошлое и помогает ему постигать настоящее, радуясь и огорчаясь.

Не ищите здесь конфликта между вчерашним и сегодняшним в Зорине. Оба времени неразлучно дружат в нем, снимая шляпу перед всегда неведомым будущим.

Когда Зорин писал книгу о своем литературном, драматургическом, человеческом прошлом, казалось, будто это книга пишет его.

Зорин не просто сочинитель. Он сам — сочинение не только славных своих родителей, но и той жизни, в которую он легко (так кажется со стороны) вошел и прочно в ней обосновался.

Юбилейничать вокруг Зорина абсолютно бессмысленно: речи устные или письменные по сему торжественному поводу не польстят его самолюбию убежденного одиночки (не в быту, разумеется, а в искусстве). Все дело в том, что Зорин вообще лишен честолюбия: он привык не себя любить, а САМ любить.

САМОСТЬ — главное в его неуемной и в то же время весьма дисциплинированной натуре. Ему свойственны вдохновение спортсмена и азарт болельщика.

Зорин — не маэстро, он ТРУДЯГА. Он—работник литературы и театра. Театр многим обязан Зорину, и Зорин многим обязан театру. Сочинения Зорина не унесли в небытие шалые ветры перемен — их продолжают издавать и переиздавать, пьесы продолжают ставить и в цивилизованных державах, и в государствах пещерной, первобытной демократии. Это и есть награда за верность себе. Это и есть наивысшая оценка его творчества в эпоху букеризации всей страны.

Зорин только начинается, а ведь уже так много успел.

Счастливчик. Баловень судьбы. И к тому же в немалой степени — ее автор.

Судьба Зорина,— пожалуй, лучшее его произведение.

Виктор ГУЛЬЧЕНКО.

Леонид Зорин

КОНЕЦ ЭПОХИ

РОМАН мой печататься должен был с августа. Я понимал, что за это время много еще утечет воды, но не думал, что много прольется крови. За несколько дней до исхода года «ограниченный контингент» наших войск вступил в пределы Афганистана. Отряд особого назначения штурмом взял дворец президента и расстрелял его на глазах его сына, десятилетнего мальчика.

Был у меня молодой приятель. Услышав вечером телеведиктора, выступившего с приятной новостью, он сразу на следующее же утро отнес заявление об отъезде. Такие решения для меня были исходно исключены, но четко помню свое состояние — омерзение, духоту и оплеванность. Угнетали в одинаковой мере наглость власти и безучастность народа. Вновь я понял, что нет ничего отвратительней с одной стороны — единомыслия, как бы оно ни называлось — массовым ли сознанием, коллективным ли разумом, с другой стороны — имперских амбиций, то именующихся геополитикой, то державной, то национальной идеей. В особенности, когда эти перила подпирают взбесившихся самодуров! И перехватывало дыхание: господи, от кого мы зависим!

С полмесяца до этих событий я показывал коллегам-писателям экранизацию «Добряков». После просмотра один литератор вздохнул: «Добряки»-то не устарели». Я добавил: «И нет на это надежды».

Все посмеялись. Но между тем шутка была совсем невеселой. «Нет надежды». Да с чего бы ей взяться, когда «многоликий Кабачков» (эпитет взят из статьи Рассадина) вознесся до высших постов в государстве?

Я часто думал, откуда берется такая уверенность этих людей в своем всеведенье, в непогрешимости, в своем безусловном и высшем праве распоряжаться чужими жизнями? И почему полуграмотный малый, который всего один раз из ста делает верное ударение, решает, что надо писать Платонову, что будет с Пастернаком и Гроссманом, дышать или нет на земле Мандельштаму? Давно уже стало понятно и ясно, что первооснова этой системы—на диво сложившаяся селекция. На самой вершине всегда оказываются самые серые, самые темные. Только такие люди и могут в слепой уголовной вседозволенности бросить своих безответных подданных в застенок или в топку войны.

Но все они были достаточно тупы и безнадежно самонадеянны, чтобы понять, что в декабрьский день семьдесят девятого года сделали самоубийственный шаг. То не был еще конец эпохи, но это было начало конца.

Одно действие предполагает другие. Когда армия переходит границу, надобно укрепить тылы. Минуло только три недели, и Сахаров был отправлен в Горький. В этом городе он провел много лет, почти изолированный от мира, но обеспеченный помощью медиков — она оказывалась ему в виде насильственного кормления, когда он объявлял голодовки. Под бдительной повседневной слежкой он вдосталь испытал унижений и навсегда изувечил сердце. Он был не единственной мишенью — режим, так сказать, перешел в наступление. По всем приметам он был готов решительно искоренить диссидентство. В эту переломную пору люди проявлялись по-разному. Тихие, мягкие интеллигенты поэты Лиснянская и Липкин вышли из Союза писателей, а бурнопламенный проповедник священник Дудко смиренно покаялся с экрана Центрального телевидения. Впоследствии благоразумный пастырь примкнет к черносотенной камарилье.

Свои разборки происходили и в недосягаемых кабинетах. Много разнообразных толков ходило вокруг самоубийства опального генерала Крылова— еще недавно он находился в первой шеренге руководителей Министерства внутренних дел, потом был лишен своего поста, назначен начальником академии. Однако и там оказался не к месту—по всем приметам стал неудобен. Узел стягивался все туже, однажды он его разрубил — взял да поставил свинцовую точку.

Когда от телефонных звонков, от формул центрального органа «Правда», от новостей в эфире и прессе, от слухов, вползающих ежечасно в твое беззащитное жилье, уже ничего не можешь испытывать, кроме удушья тотальной бессмыслицы, когда в твои вены как будто впрыскивают перенасыщенный раствор отравленного столичного воздуха, тебе остается последнее средство — белая чеховская Ялта, где «пахнут сливовые деревья и дышит март», где после зимы словно исходит истомой и негой ленивое татарское море.

Но сам я не собирался лениться. Совсем напротив, мои намерения попахивали гигантоманией. Коль скоро здоровье моей жены хотя бы немного нормализовалось и я мог позволить себе отлучку, следовало до капли использовать отпущенную мне передышку. Прежде всего я был обязан—кровь из носу — дописать «Карнавал», обе оставшиеся мне части, а кроме того, я хотел инсценировать любимый хемингуэевский «Колокол». Когда-то я уже подступал к этой достаточно трудной работе, теперь я должен был ее сделать для милого мне Леонида Хейфеца. Московский Художественный театр его пригласил поставить роман, и нужно было принять в расчет, как видит он будущий спектакль. Это и усложняло задачу, и делало ее увлекательной.

Мне предстояло неукоснительно придерживаться железного графика. До обеда я писал свою пьесу, по вечерам инсценировал классика. И наступили счастливые дни — усталость была не в тягость, а в радость. Благословенное крымское небо тешило летней голубизной, эта нездешняя бирюза действовала на меня вдохновляюще — стоило утром ее увидеть, и сразу же тянуло к столу.

В эту ясную отрешенную жизнь, словно в окно, влетели две птицы, две черные вести— в начале апреля в Москве завершил свой путь Павел Марков, в Париже, спустя десяток дней, умер долго болевший Сартр.

С МАРКОВЫМ я встречался нередко, и мне всегда казалось: он вечен. Десятилетия подряд — та же прелестная сухощавость, ладная небольшая фигурка, привычно вписывающаяся в партер премьер и общественных просмотров. В этой повышенной температуре и в чем-то искусственной атмосфере он пребывал совершенно естественно, то был его органический мир, и он был частью этого мира, его обязательной принадлежностью. Он любил этот тихо гудящий зал в знобком предчувствии священнодействия, неспешное угасание люстр, сумрак и холодок ожидания. Шорох уходящего занавеса будто предвестие реальности. Пусть она сочинена и разыграна — с какою легкостью гасит она, казалось, устойчивый миф обыденности, в котором мы проживаем жизнь.

Он был одним из растений-реликтов, как бы насильственно извлеченных из времени, из своей среды, пересаженных на чужую почву. Когда-то Булгаков охотничьим взглядом увидел в глазах его грусть и усмешку. Грусть в них осталась, усмешка потухла. С одной стороны, привыкаешь к действительности и, коли участвуешь в ней так активно, уже не относишься к ней с иронией, с другой стороны — старость, как правило, утрачивает охоту к юмору. Так оно с нами и происходит — сперва исчезают твои особенности, за ними вслед исчезаешь и сам. Сперва постепенное нивелирование, а уж затем — аннигиляция.

Стало быть, вечного Маркова нет в этом меняющемся мире. Вспомнились встречи и разговоры, словечки, выражение глаз, его характерное старомосковское, острое, худое лицо, вспомнилась молодая пылкость, с которой он встретил «Медную Бабушку», вдруг неожиданно для себя я ощутил, что ушло нечто важное, существенное для собственной жизни.

То, что душа моя отозвалась на эту кончину, было понятно— покойник мне был хорошо известен. Однако и смерть незнакомого Сартра задела, перемешала мысли. Только подумать, как много лет приковывал он к себе интерес обычно равнодушного мира, будучи вовсе не телезвездой, всего лишь мыслителем-моралистом. С первых — таких далеких — сборищ в кафе «Двух идолов» на Сен-Жермен де Пре, с манифеста экзистенциалистов, с провозглашения личной ответственности имя его не сходило с уст. Но в нашем несовершенном мире следование моральным догматам бывает опасно, а то и комично (что хуже — не сразу определишь) — оно не выдерживает испытания жизнью. Его непонятные поступки не раз и не два повергали в оторопь — могучий мозг и наивный ум — какое коварное сочетание!

Я ощущал в нем ту же зависимость от смены эпох и поколений, которую ощущал и в Маркузе. Этот кричащий, необъяснимый отказ от Нобелевской премии лишь оттого, что ее не успели вручить до него Михаилу Шолохову! Несправедливость была исправлена, и нобелевская лекция Шолохова была красноречивым ответом достойному интеллектуалу. Впрочем, не за горами было и новое его увлечение — на этот раз террористом Баадером.

В Москве жила милая умная женщина, которую Сартр нежно любил последней стариковской любовью. Она мне рассказывала о спорах, о бурных дискуссиях, о размолвках. Однажды она на него накричала: «Доколе вы будете нам объяснять, как мы прекрасны и современны?! Доколе вы будете восхвалять кровопускателей и хулиганов, в лучшем случае, безумных фанатиков? Сколько можно своим авторитетом поддерживать оглохшее общество и китайское государство?». Вечные горестные вопросы бедных советских интеллигентов к передовой европейской элите, которая, подобно бурбонам, не в силах была ни забыть иллюзий, ни научиться в конце концов трезвости. В памяти оживает фигура Бернарда Шоу, прибывшего в Мекку — сиречь в советскую Москву — отметить свои три четверти века и объявить Советский Союз последней надеждой человечества. Эмиль Людвиг почтительно спрашивал Сталина о жизни его богатой души. Грустный мудрец Лион Фейхтвангер сочувствовал его потрясениям — легко ль пережить измену соратников!

Впрочем, в горячих симпатизантах и далее не было недостатка. Все прогрессивные гуманисты, по преимуществу долгожители, высоколобые провинциалы из сытых европейских столиц, сопровождавшие аплодисментами «социальный эксперимент на Востоке», все они вместе и каждый в отдельности засвидетельствовали свое восхищение мифом двадцатого столетия, Иосифом и его собратьями, а позже — их прямыми наследниками. Иной раз является ощущение, что ум не в ладу не только с сердцем. Его отношения с интеллектом также нуждаются в прояснении.

Как я понял, последние дни Жан-Поля прошли в растерянности и смятении. В который раз погоня за временем была фатально и горько проиграна.

ЯЛТА всегда была плодоносна, однако весна восьмидесятого стоит в моей памяти особняком. Я точно хотел наработаться впрок. Я чувствовал — в поджидавшей Москве будет не до изящной словесности. И я трудился, как одержимый.

Сорок пять дней счастливой горячки! Я финишировал с «Карнавалом» и пьесой по «Колоколу» раньше, чем думал. Еще оставались мне две недели— премия за мое усердие. Я понял, как стосковался по прозе. За эти последние крымские дни, доставшиеся нежданно-негаданно, я записал вчерне два рассказа и — набело — мемуар о Меркурьеве. И—то, что было важнее всего, — всерьез погрузился в книгу «Записок»— в итоге я написал две главы.

В майской столице я вновь очутился в своем привычном круговороте. Еще раз мне привелось убедиться, что в деле, которым я занимаюсь, процесс увлекательней результата и, больше того, только процесс дает тебе полновесную радость. Я вспоминал, как в далекие дни, когда неуемное нетерпение было всепоглощающим чувством, кипевшим в моей бакинской душе, так важно мне было любое дело, преображавшее пьесу в спектакль, — будь то свидание с композитором, с художником, первая репетиция. Теперь я все чаще себя ловил на странном желании отмахнуться, либо поскорее избавиться даже от самых приятных обязанностей, только дивился тому, что когда-то они доставляли мне удовольствие. Это был самый веский сигнал, что время прозы пришло не случайно.

Меж тем мне вновь предстояла пауза. Борис Львов-Анохин снял телеверсию «Незнакомца». Пряча улыбку, он обронил: «Мне было очень интересно». Я знал его достаточно близко, чтобы понять, что он доволен. И в самом деле, его работу можно было назвать образцовой. После несчастья в Театре сатиры, где «Незнакомца» пришлось закрыть, фортуна опять меня приласкала. Впрочем, она неизменно оказывалась доброжелательней и благосклонней, когда за дело брался Борис. Тогда, в пятидесятые годы, мы встретились под счастливой звездой.

Мой друг работал в Малом театре, и ясно, что он привлек артистов, которых успел обратить в свою веру. Впрочем, не обошлось без пришельцев. Партийную даму исполнила Дмитриева, Огаркова — молодой Древицкий, наш старый товарищ Андрей Петров, незабываемый Кабачков, был снова с нами — играл Башмакова. И, наконец, на роль Незнакомца Борис пригласил артиста Авшарова, впервые явившегося в этом образе в закрытом спектакле Виктюка. Надо сказать, что его участие было особенно мне приятно—то был своеобразный реванш.

Но подлинным чудом, открытием, праздником, была, безусловно, Наталья Вилькина. Не только с нежностью и восторгом — с безмерной печалью пишу эти строки, недолго длилось наше общение. То было пленительное существо. Кто видел ее, тот не забудет. Ни эту естественность в каждом движении, почти невозможную у актрисы, ни этот веселый свободный ум, ни эту душевную независимость. Есть разные грани актерского дара. Есть лицедеи, есть аналитики, есть и определенные маски. Актерский талант Наташи Вилькиной был высшей марки — он вырастал, выплескивался из таланта личности, ее расточительного богатства. Любое слово в ее устах и каждый брошенный ею взгляд были таинственно притягательны. Наше содружество в «Незнакомце», по счастью, нашло свое продолжение, когда на сцене Дома Островского Андреев решил возродить «Гостей». И снова мы должны были встретиться — в «Союзе Одиноких Сердец» — но этой мечте не дано было сбыться, Наташи не стало, сгорела за час. В печальном свитке моих потерь эта была одной из горчайших — такого сердечного сродства, такой органической творческой близости мне больше не привелось ощутить, я знал, что лишился своей актрисы.

Спектакль Львова-Анохина был принят восторженно и сразу же поставлен в эфир. Но радость наша была недолгой— начальство трижды его снимало, однажды даже за день до премьеры. На этом, правда, борьба не кончилась, но многочисленные конвульсии наших союзников на телевидении не привели ни к каким результатам. Чего и следовало ожидать. Знакомство массовой аудитории с несвоевременным «Незнакомцем» было отложено на шесть лет. «Скворцу, запевшему в феврале» велели оборвать свою песенку.

В конце апреля я выехал в Питер — моя «Измена» была на выходе. Долгое время судьба спектакля была решительно непонятна—им занимался второй режиссер. На первом прогоне мне было показано громоздкое и претенциозное зрелище. Казалось бы, всем хорошо известно — комедия не терпит форсажа, ее воплощение на подмостках должно быть изящно и ненавязчиво, самый невероятный сюжет нужно играть с абсолютной серьезностью, тем большей, чем он невероятней. Все эти азбучные истины не претендуют быть откровениями, но всякий раз их утверждаешь заново. В чем тут секрет? В недоверии к автору? К зрителю? К его восприятию? Оно достаточно подготовлено абсурдом нашей реальной жизни. Или все дело в актерском инстинкте — хочется заявить о себе подчеркнуто броско, подчеркнуто звонко? Как бы то ни было, все, что я видел, настраивало на скорбный лад — скорее домой, сбежать от позора.

Фоменко почувствовал запах паленого и вот, наконец включился в работу — всего за какие-то десять дней спектакль волшебно преобразился, обрел и форму, и ритм, и тон. Артисты поверили в то, что делают, и вера словно исторгла комизм. Когда я спросил Петра Наумовича, где же он был, он честно признался: «Лишь за последние репетиции я понял и полюбил эту пьесу». В этом и заключался секрет его безучастности и проволочек.

В Питер на первое представление приехали Львов-Анохин и моя жена. Обоих порадовали и спектакль, и то, как его принимает зал. Потом на ужине после премьеры довольный Фоменко дал слово Борису как «специалисту по Зорину». И то сказать — десять совместных работ! Львов-Анохин высоко оценил спектакль, он начал с того, что в нем «нет дешевки». Весьма характерная точка отсчета! В этих словах был весь Борис.

В «Измене» я встретил старых друзей — Лемке, Захарова, Веру Карпову. Открытием был Владимир Еремин, сыгравший стихотворца Валетова. Впоследствии мы с ним подружились. Кстати сказать, он был филолог, может быть, оттого я ни разу не слышал осточертевших претензий по поводу моей «элитарности». Меня восхитило, как он почувствовал природу комедии, общий звук, услышал лирическое смятение, упрятанное в иронический текст. Поныне я помню, с какой отдачей прощался он с пьесой, партнерами, залом в своем заключительном монологе: «Ахти мне, осталось всего ничего — свисток позовет, состав загремит, воздух вздрогнет, Покровск растает. И где ж он, Покровск, земля отцов, любезные душе покровчане? Прощайте! Какая лавина чувств... Хочется плакать и брататься. ...Ах, зиждитель, какая грусть сочится в белый свет из сердец».

То был наш последний счастливый вечер. Пора было возвращаться в Москву. Жене предстояло сдавать в издательство объемистый «Лобановский» том.

Весь этот год она трудилась, себя не жалея, спешила во всю. Она ощущала, что силы кончаются. К тому же и все, кто знал Лобанова, один за другим уходили из мира. Меж тем издать эту книгу-памятник стало для нее делом жизни. Для нас, нас обоих, Лобанов был, пожалуй, единственным человеком, к которому мы оба испытывали чувство, похожее на поклонение. При жизни он не был достаточно понят, как все преждевременные люди. Было невыносимо видеть, как память о нем постепенно глохнет, уже не помнят его спектаклей, его находок, его прозрений. Уже не помнят, какая сила была заключена в этом грустном немногословном исполине. Еще совсем молодым человеком я чувствовал с такою отчетливостью, что каждая минута с ним рядом вдруг насыщается высшим смыслом. Казалось, что сам собой возникал мистический холодок истории. Как одолеть эту несправедливость, остановить этот кованый шаг всеперемалывающего забвения? Ни я, ни она не могли смириться с тем, что Лобанова позабудут.

В день, когда книга была закончена, завязывая тесемки папки, она с усилием улыбнулась: «Ну все. Теперь уже мне не страшно».

Летом мы жили с ней в Переделкине, в Доме творчества, были весь день на людях. Я видел, что ей все труднее становится держать себя, как говорится, в струне. И все-таки ей это удавалось. Приветлива, сдержанна, благожелательна — никто не испытывал ни напряжения, общаясь с нею, ни чувства вины, гнетущего здоровых людей, когда им приходится общаться по сути дела с приговоренным.

Я оглушал себя работой. Писал сценарии — сразу два — по «Транзиту» и «Покровским воротам», когда выпадало свободное время, я возвращался к своим «Запискам». Как мог, я забивал себе голову.

В МОСКВЕ открывалась Олимпиада. После вторжения в Афганистан немало стран и немало спортсменов готовились ее блокировать. Сорвать злокозненный вражеский замысел стало первостепенной задачей — спорт плотно вошел в Большую Политику.

Доступ иногородним в столицу был запрещен. Московские улицы буквально заполонила милиция. Кроме обычных милиционеров, было — в избытке — переодетых. Стремясь уйти от привычного облика, иные отращивали длинные волосы, но это не слишком им помогало. Рассказывали смешную историю — единообразие штатской одежды бросалось в глаза, и было приказано сменить ее конспирации ради. Приказ был выполнен незамедлительно — партикулярных стражей порядка одели заново, но опять — всех в одинаковые костюмы.

В конце июля умер Высоцкий. Эфрос рассказал мне, что по Таганке весь день шли жаждущие проститься — «настоящие всенародные похороны». Рассказывая, Эфрос всплакнул. Высоцкого полюбили при жизни, страна признала его «своим», но смерть, как это обычно бывает, собрала разрозненные чувства в один электрический пучок, и разом родившаяся энергия приобрела необычную силу.

Конечно, он предчувствовал смерть. В одной из песен он так и пел, что чует с погибельным восторгом — «пропадаю, пропадаю!». Этот восторг неминуемой гибели, видимо, национальное свойство. Он зародился на тех просторах, где жизнь — копейка, судьба—индейка. Этот приблатненный апостол, вдруг прохрипевший на всю империю свою неуемность, тоску и страсть, словно пришпоривал свой конец. Всегда на краю, всегда над бездной, неверный шаг — и с обрыва в пропасть! И черт с ним, чем скорее, тем лучше. Ведь все равно нипочем не приладишься к общему шагу, к общему строю. А сил все меньше, их не хватает ни для любви к европейской красавице, ни для любви своего народа, которая не оставляет свободы, ни для песни — она все глуше.

Власти, бесспорно, были задеты такой неподдельной народной скорбью. В регламентированной державе предмет обожания должен быть назван и утвержден ареопагом. Не может быть непредусмотренной ненависти и самодеятельной любви. Тем более к этому менестрелю, выломившемуся из регламента в жизни и осмеявшему его в творчестве. Спектакль Любимова о Высоцком, созданный вскорости, был закрыт. Однако в том августе Старая площадь столкнулась с заботами, превосходившими и проведение Олимпиады, и плач страны по ушедшему барду. Вновь Польша, непокорная Польша, мятежная сестра по славянству! Возникший профсоюз «Солидарность» призвал к забастовке — сначала в Гданьске, а после — и в других городах.

Пришлось убедиться, что в этой стране с коммунистическим режимом есть профсоюз, позабывший о том, что он — «приводной ремень к коммунизму». Число бастовавших росло, точно лава. Сто тысяч, сто пятьдесят тысяч, и вот уже — четверть миллиона. На сей раз это не диссиденты, интеллигентское отребье, высокомерные отщепенцы некоренного происхождения, нет, протестует рабочий класс, сам пролетарский хребет режима, чьим именем власть привыкла клясться, грозить, проклинать, освящать репрессии. Я вспомнил, как в газетном отчете о процессе над тунеядцем Бродским, который себя «называл поэтом», было написано, что приговор встретили бурными аплодисментами люди «с рабочими руками». Эти финальные строки статьи как бы подводили итог — нет, тут не только судебный вердикт, это еще приговор народа! И вот теперь рабочие руки бездействуют в доках и на заводах, но взметнулись против правящей партии, выразительницы их интересов, партии трудового народа!

Было понятно, какая опасность, какой соблазн таятся в случившемся, в памяти угрожающе ожил кровавый новочеркасский призрак. Нельзя было, чтоб звучало в ушах само это слово — «забастовавшие». Поэтому официальное радио предпочитало эвфемизм, говорилось «перерывы в работе». Но даже кремлевские идеологи видели, что подобные трюки только смешат аудиторию, которая сразу же переключилась на зарубежные радиостанции. Решили возобновить глушение. Рухнул последний редут разрядки.

В громадном мире систем и стран, в мире вождей и геополитиков, в мире сообществ, движений масс взмывали эпохальные страсти и эпохальные события, и в то же время в маленьком мире, в скромной среде рядовых людей шла своя неприметная жизнь, имевшая цену, пусть только для них, но оттого не менее полная — свои радости и свои трагедии.

В НАШЕЙ семье произошли два важных события—том о Лобанове был выпущен в свет, имел успех, и я увидел жену счастливой. Я знал, каких экстремальных усилий, какого — действительно героического — преодоления страданий потребовала от нее эта книга, сердце полнилось гордостью за нее и жгучей безысходною нежностью. Помню, мы однажды прогуливались, и, глядя в подмосковное небо, она шепнула: «Знает ли он?». И мне, навсегда обделенному верой, так захотелось в тот вещий миг поверить, что впрямь душа бессмертна и что Лобанов сейчас доволен.

В эти же дни я держал в руках августовскую книжку «Севера» с первой частью моей «Старой Рукописи» и все не мог себя убедить, что вытерпел, что добрел до финиша. Когда пришел журнал с окончанием, я свел оба номера воедино, снес в переплетную и получил как бы вышедшую в издательстве книгу. Жена улыбнулась: «Ну вот ты и дожил». И добавила: «И я дожила».

Эта всеведущая улыбка заставила меня содрогнуться. И все-таки наконец состоявшийся выход романа принес ей радость. Уже в этом было его оправдание. Радовал ее и прием. Ведь и критические умы были на сей раз ко мне благосклонны. Причина этого единодушия, весьма неожиданная для меня, скорей всего заключалась в том, что градус исповеди был выше нормы.

Однако эти добрые речи уже не могли мне вернуть равновесия — почва под моими ногами стремительно расползалась в стороны. Я видел, что грозный час все ближе. Чувствовала его и она. И все же ей хотелось надеяться. Однажды она спросила меня: «Ты думаешь, дело совсем беспросветно?». В другой раз сказала мне озабоченно: «Надо бы поговорить о главном». О, это вечное ощущение, что главное так и не было сказано.

Та осень косила людей усердно. Умер переводчик Лев Гинзбург, с которым когда-то мы жили в Репихове, летом после разгрома «Гостей», с которым соседствовали в Москве. Он был талантлив не только в творчестве, он был талантлив в самораскрытии, в общении, даже в житейском цинизме, который он весело декларировал. Год минул, как он схоронил жену, но вновь нежданно нашел свое счастье. За день до свадьбы его не стало.

Ушла из жизни Любовь Добржанская — одна из блистательнейших актрис, моя незабвенная Гребешкова. Скончался в Испании Амальрик, бестрепетно предсказавший империи конец уже в восемьдесят четвертом. Это выглядело чистейшей утопией. В своем космическом всемогуществе, уже проглотившая пол-Европы, держава казалась несокрушимой. Однако пророчество оправдалось — ошибка в сроке была ничтожной.

Но пусть простят меня великодушно знакомые и незнакомые тени — я был поглощен своей бедой. В больницу на Каширском шоссе жену не взяли — там сознавали бесплодность какого-либо лечения. Три месяца на пыточном ложе с короткими паузами между уколами, дарившими ей недолгий роздых. Сиделки, капельницы, шприцы и морфий, морфий, одно спасенье! Все, что осталось от мира, от жизни.

В эти декабрьские вечера я все ходил по безмолвным комнатам и все вспоминал — мне было что вспомнить! И первую встречу в июньский вечер, и жизнь в восьмиметровой каютке, мою болезнь, рождение сына, и все, что мы поняли и перечувствовали за все эти долгие десятилетия, пока мы с ней строили дом нашей жизни, трудились, укладывали кирпичи, которые то и дело крошились. Заботы никогда не кончались, а радости были мгновенны и зыбки.

Я вспоминал, как три года назад узнал я, что чуда не произошло и мне теперь остается лишь ждать, как навещал я ее в больнице, как уходил, а она оставалась. Я задерживался на миг на пороге и видел, как взгляд ее упирается в безжизненно белый потолок. И после дома, в привычной комнате, которую она прежде любила, лежит на своей матрацной дыбе, глаза по-прежнему смотрят вверх. О чем она думала в эти часы, что видела, в каком одиночестве, в какой пустыне тогда парила ее истерзанная душа?

В последний вечер меня к ней позвали — проститься перед отходом ко сну. Она мне ничего не сказала, ни самого главного, ни обыденного — прижалась губами к моей руке. Я знал ее постоянную сдержанность, ее неприязнь к любой патетике — в слове ли, в жесте — я был смущен, не мог объяснить такого порыва. Все понял я уже только утром.

Когда мы вернулись из крематория, в доме было людно и шумно. Кто-то сказал, что в соседнем подъезде готовятся к завтрашнему отъезду Войновичи — я незаметно вышел, пошел проститься, я был убежден, что больше мы никогда не свидимся.

Войнович знал о моем несчастье, слова не шли у него с языка, молчал и я, не мог говорить — да и о чем? Оба мы понимали, что это вечернее прощание так же, как утреннее,— навек.

Я вернулся, почти никто не заметил отсутствия хозяина дома, а если заметил — не подал виду. Потом все ушли, я был один.

...Осталось мне в который раз Глядеть в проем окна. И знать, что в сумеречный час Не явится она. Что та, которой много лет Служил я на земле, Не видит, нет. Не слышит, нет. Исчезла в этой мгле. А я и ныне не постиг, Откуда был тот свет, Ко мне домчавшийся на миг С неведомых планет.

---

* Фрагмент главы из книги «Авансцена (Записки драматурга)». Полностью книга выходит в издательстве «Слово».

310